



## Я — СУД

В полночь я выскочил из дома. Знал, что в такое время суток трудно найти такси, да еще в Норкском массиве. Знал и потому решил до центра добраться пешком. Может, повезет, и по дороге подберет машина. Главное — не стоять на месте, не ждать. Когда человек спешит, ему хочется постоянно быть в движении. Правда, я сознавал, что торопиться, собственно, незачем. Умершему уже не поможешь. Но сознавал и другое. Испокон веков люди, сливаясь в густые потоки, спешат в дома, где случалось несчастье, не ради встречи с мертвым, а в первую голову для того, чтобы своим присутствием утешить живых.

Меня-таки подобрала машина. Шофер остановился сам. Как-то весело предложил сесть. Настроение у него, видать, было хорошее. И может, от этого он казался человеком красивым. Он разговаривал громко и весело, с неизменной улыбкой на лице. Однако, заметив, что у меня у самого настроение убитое, тотчас же переменил тон и вскоре вовсе замолк. Когда мы подъехали к нужному подъезду, я полез в карман, но шофер цепкой рукой схватил мою кисть. Я почувствовал неловкость. Он покачал головой. Я тихо сказал: «Спасибо». И было хорошо на душе оттого, что в полночном городе встретил на самом деле красивого человека.

В доме умершего было довольно шумно. Уже успели прибить многие, хотя тело покойника еще находилось в больнице. Я обратил внимание, что знаю далеко не всех. Ловил себя на мысли, что некоторых где-то видал, но никак не мог припомнить, где именно. Мужчины говорили о предстоящих похоронах. Распределялись обязанности.

То и дело кто-то высказывал удивление по поводу внезапной смерти. Человек накануне чувствовал себя хорошо. Правда, все знали, что время от времени его беспокоили фашистские железяки, которые десятилетия за десятилетиями шевелились под несметным множеством рубцов. И все же кончина друга

была неожиданной. К железякам привыкли. К смерти привыкнуть невозможно.

Присутствующие много говорили о смерти, но не догадывались о ее причине. В больницу повезли с болями в сердце. Значит, причина ясна. Ведь сейчас стало модным смерть объяснять и даже оправдывать коротким словом «сердце». Никто не знал, что речь идет не о «естественном конце». Вернее, знали только двое. Покойник и я. Теперь один я.

За неделю до смерти друга я встречался с убийцей. Не побоюсь назвать его так. Это совсем нелегкое дело: встречаться с человеком, которого презираешь, как труса, предавшего свою мать. И уж совсем неумоготу, когда этот трус вызывает такую же физическую брезгливость, как синюшного цвета грязь, накопившаяся под долго не стриженными ногтями неряхи.

И после встречи, после разговора с таким человеком начинаешь уже презирать самого себя. Происходит это оттого, что ты согласился с ним встретиться, согласился разговаривать. И уже совсем плохо оттого, что ты корчил из себя благовоспитанного человека и не заехал ему по физиономии. Или, на худой конец, не плюнул ему в лицо.

Я, видите ли, не мог поступить иначе. Я, видите ли, воспитанный человек. Интеллигент. И потому не мог заехать по физиономии. Нет, оказывается, у меня на это прав. Нет никаких прав, несмотря на то что я знал все о его преступлении. Все. Но доказательства у меня косвенные.

За окном черная тихая ночь. Я сижу молча в углу рядом с незнакомыми и знакомыми людьми. Сознаю, что теперь не будет мне покоя до скончания века. Не будет покоя до тех пор, пока не наступит час расплаты, час возмездия. Хотя я согласен с прокурором: самосуд — это не есть расплата, не есть возмездие. Нужен суд. Настоящий суд. И я готов выступить с обвинительной речью. Я никогда не выступал на суде с обвинительной речью и не знаю, как это делают. Но я знаю убийцу. И детей его знаю. У него есть взрослые дети, и они догадываются о подлинной профессии отца. Дети стыдятся его, чувствуют себя несчастными. У них одна общая фамилия, и в этом их трагедия. И чтобы лишний раз не сделать больно детям, я не называю фамилии. Общей фамилии. Это страшно, когда дети стыдятся отца. Это страшно, когда отец — наветчик. Доносчик. Анонимщик. Словом, грязь, моль, тля. Грязь, о которую пачкается все. Моль, которая медленно, но верно поедает в

темноте только самую дорогую и самую ценную ткань. Тля, разлагающая все и вызывающая зловоние.

И я хочу рассказать в своей обвинительной речи все, что собрал о Тле. И о таких, как Тля. Все они похожи друг на друга. У всех одна биография. Тле было двадцать лет, когда он начал писать свои наветы. Он писал и наслаждался собственным творением. В двадцать лет Тля хорошо уяснил для себя, что на свете нет острее оружия, чем перо.

Когда для страны пришло трагическое время, Тля не спешил взять оружие в руки. Он обзавелся спасательной броней — клочком бумаги, который освобождал от фронта.

И во время войны Тля писал наветы. Писал даже на тех, кто воевал на фронте. Писал... стихи. И газеты печатали их. Печатали, не подозревая, что публикуют мародера. Да, Тля был мародером особого рода. Он домогался жен и невест, чьи мужья и женихи погибли на войне. Уже все в округе знали, что после черного извещения о смерти в дом, наполненный горем, приходил Тля. Приходил, чтоб якобы помочь горю. И уходил чаще всего, получив вдовы и девичьи оплеухи.

Тлю-мародера спустила с лестницы и белолицая красавица невеста, которая ни за что не хотела верить черному извещению. Она спустила его с лестницы и сказала вслед: «Я не верю извещению. Я сердцу верю. Вернется мой любимый. Но ты, несчастный, можешь быть спокоен. Я ничего не скажу своему жениху. Иначе он убьет тебя. А такие, как ты, должны жить на этой земле. Должны жить хотя бы для того, чтобы невесты и жены, сравнивая, могли по-настоящему гордиться своими женихами и мужьями».

Сердце любящей девушки не обмануло ее надежд. Наперекор зловещей бумаге жених вернулся с фронта. Вернулся весь в ранах. Но вернулся. Живой и гордый. С победой вернулся. И невеста ничего не сказала о Тле. Она не хотела портить праздник. Не для того жених проливал кровь, чтобы в День Победы слушать о доносчике и несчастном трусе. Для праздника ее любимый проливал кровь. Для того, чтобы растить появившихся вскоре детей. Красивых детей. И было им, талантливим людям, хорошо.

Но не всегда жизнь была гладкой. Нередко в дверь стучалась беда. Кто-то писал и писал наветы на фронтовика. На израненное тело кто-то сыпал соль. Нет, победа советского народа над фашизмом не смягчила черствую душу Тли. Скорее наоборот, еще больше озлобила. После войны вернулись домой мужчи-

ны. Были среди них и настоящие поэты, талантливые люди. И плохо стало Тле. Тля уже не мог печатать стихов, оставалось лишь писать анонимки.

Писал он левой рукой. Жертвы свои выбирал с утонченным изуверством. Выбирал тех, кто был по-настоящему талантлив. И конечно, не мог обойти своим черным вниманием израненного фронтовика. Тут ведь не только ненависть к таланту, но и месть за незабытую, жгучую до боли пощечину белолицей красавицы.

Тля изливался желчью. А раненого фронтовика засыпали вопросами.

Наконец наступило время, когда перестали задавать фронтовику вопросы, оскорбляющие человеческое достоинство.

Это, конечно, насмерть перепугало Тлю, но он решил продолжать свое грязное дело. Ничего страшного в том, что жертву не посадят. Но зато доконают беседами. И он продолжал писать. Правда, жертву уже действительно не допрашивали. Но уж лучше бы допрашивали. Может, хоть тогда разобрались бы наконец. А то ведь что получается: Тля пишет левой рукой очередной навет, и бывшему фронтовику показывают (ах, как это благородно!) письмо. Разводят руками. Выражают свое сочувствие. И под конец делают заключение: «Ну, конечно, дорогой, ты у нас всеми уважаемый человек. Можешь быть спокоен. Мы письму этому, написанному каким-то мерзавцем-завистником, ходу не дадим». Но при этом письма, написанные «мерзавцем-завистником», почему-то не рвут и не выбрасывают, а, проштамповав, аккуратно вкладывают в папку. Пока же анонимка пришивается, почта разносит в разные концы огромной страны очередные пасквили Тли.

И все же есть и последний пасквиль. Последняя анонимка. Последний навет. Последняя жертва.

Сейчас у меня на столе последнее письмо, убившее моего друга, бывшего фронтовика. Я смотрю на испещренные левой рукой листки бумаги и ужасаюсь. Многочисленные осколки не смогли убить человека, а клочок бумаги убил. Пасквилянт на сей раз под письмом поставил имя и даже адрес. Но все равно письмо анонимное. Имя фальшивое — по указанному адресу никто не живет. В письме написано о том, что бывший фронтовик был дезертиром (!). Написано и о том, что он имеет шикарную квартиру и автомашину. Что его сын со своей семьей и детьми тоже имеет отдельную квартиру. И еще — дачу! Караул! Люди имеют дачу!

Дача, машина, женщины — все это лишь тривиальные мелочи в анонимках, всего лишь обязательные атрибуты. Куда важнее разглагольствования о взглядах избранной жертвы. В последнем письме, например, после дачи, машины и женщин идет следующее сообщение о бывшем фронтовике: «Он диссидент. В своих выступлениях не раз высказывал мысли против системы...»

Для человека, имеющего биографию Тли, подобные «сообщения» естественны. И напрасно может показаться, что подобные «обвинения» являются нововведениями в эпистолярном наследии Тли. Если почитать его кляузы, то можно заметить, что и стиль, и тон остались неизменными с самого начала карьеры кляузника, когда ему было всего двадцать лет. Тля слишком хорошо изучил людей. А люди, к сожалению, бывают чересчур забывчивы.

Бывшего фронтовика хоронил, казалось, весь город.

Четверо мужчин, перепачканных землей, осторожно опустили гроб в сырую могилу. Тихо играла траурная музыка. Громко плакали женщины. Мужчины спешно и ловко закапывали могилу. Люди медленно проходили мимо и бросали по горсти земли. Таков обычай. Теперь уже, наверное, не все могут точно определить его суть и смысл. Так делали деды, так делаем мы. Но если призадуматься, можно объяснить. Человек вместе с горстью родной земли посылает туда, вниз, частицу тепла своих рук. Память о себе. Человек не только хочет помнить о мертвых, но чтобы и мертвые помнили о нем.

Люди все шли и шли мимо быстро наполняющейся землей могилы. Приближаясь к ней, они уже заранее нагибались, чтобы успеть взять землицы, подержать ее в руках хоть какое-то мгновение...

Неожиданно траурный воздух прорезал пронзительный крик. Все вздрогнули. Остановились и те, кто, уже простившись с покойным, разбрелись по многочисленным узким тропинкам кладбища. Кричала женщина, жена бывшего фронтовика. Она побелела как снег, воспаленные от слез глаза, казалось, источали огонь. Она несколько раз подряд прокричала: «Нет! Нет! Нет!» — и с вытянутыми руками с оттопыренными пальцами, выражающими проклятье, подалась вперед к могиле.

У самого края стоял скрюченный, как змея, Тля. Он воровато держал в руке горсть земли. Вдова остановилась возле него. Остановилась как вкопанная. Она больше не кричала, только с

ненавистью посмотрела в глаза Тли и строго, без окрика, сказала, переводя взгляд на его руку, зажатую в кулак: «Не смей!»

Я обратил внимание, как у Тли автоматически разжались пальцы, и сыпучая земля посыпалась на штанину. На искривленном от ужаса лице Тли неожиданно появилась лисья усмешка. Круглыми лисьими глазами он повел по сторонам, словно ища лазейку, в которую мог бы нырнуть.

Я понимал, усмешка была от его уверенности, что все равно никто из присутствующих ничего не понял. Но он жестоко ошибался.